

## Марина Цветаева

### «Музыкального рвения у меня не было»<sup>1</sup>

В повести «Мать и музыка» М. Цветаева рассказывает о музыке в их доме и в ее собственной жизни. Из ее яркого рассказа мы узнаем много интересных подробностей, среди которых — неудачные попытки матери сделать из нее музыканта. Марина рано ощутила свое «рожденное» писательское призвание, но ее мать этого не видела или не хотела видеть. Будучи сама блестящей пианисткой, она мечтала о музыкальной карьере дочери и настаивала на серьезных занятиях. Поражает контраст: мать выдающегося композитора С. Прокофьева *не разрешила* сыну играть на рояле дольше двадцати минут в день, мать М. Цветаевой *требовала* от девочки играть в течение двух часов подряд утром и вечером!

У Марины были «все данные» — общая музыкальность, большая рука, упорство и послушание. Но все напрасно! «Честные» усилия девочки не приводили к успеху, ибо они были подчинены не ее воле, а требованиям матери. Занятия музыкой превращались в механическое отбывание за инструментом под ненавистный звук метронома.

Зато как оживал ребенок, погружаясь наперекор всем и всему, в любимую «стихию стихов»! Снова и снова убеждаешься, как необходимы таланту свобода самоопределения и как он добывает ее для себя!

Музыкального рвения — и пора об этом сказать — у меня не было. Виной, верней причиной, было излишнее усердие моей матери, требовавшей с меня не в меру моих сил и способностей, а всей сверхмерности и безвозрастности настоящего рожденного призвания. С меня требовавшей — себя! С меня, уже писателя — меня, никогда не музыканта.

«Отсидишь свои два часа — и рада! Меня, когда мне было четыре года, от рояля не могли оттащить! «Noch ein wenig!»<sup>2</sup> Хотя бы ты раз, раз у меня этого попросила!»

Не попросила — никогда. Была честна, и никакая ее заведомая радость и похвала не могли меня заставить попросить того, что само не просилось с губ. (Мать меня музыкой — замучила.) Но и в игре была честна,

---

<sup>1</sup> Цветаева М.  
Мать и музыка. СПб., 2001 (с сокращениями).

<sup>2</sup> «Ну, еще немножко!» (нем.).

играла без обману два своих положенных утренних часа, два вечерних (до музыкальной школы, то есть до шести лет!), и даже не часто оглядываясь на спасительный круг часов (которых я, впрочем, лет до десяти совершенно не понимала, — с тем же успехом могла бы оглядываться на «Смерть Цезаря» над нотной этажеркой), но как их глубокому зову — радуюсь!

Играла без матери так же, как при матери, играла, несмотря на соблазны враждовавшей с матерью немки и сердобольной няньки («совсем дитя замучили»!) и даже дворника, топившего печку в зале: «Пойди-ка, Мусенька, пробегись!» — и даже, иногда, самого отца, появлявшегося из кабинета, и, не без робости: «А как будто два часа уже прошли? Я тебя точно уж полных три слышу...».

Нет, несмотря ни на какие соблазны, соболезнования и зовы — играла. Играла твердокаменно.

Жара. Синева. Мушиная музыка и мука. Пот льет, пальцы красные — играю всем телом, всей своей немалой силой, всем весом, всем нажимом и, главное, всем своим отвращением к игре. Смотрю на кисть, которую в детстве матери нужно было держать на одной линии (напряжения!) с локтем и первым пальцевым суставом и так неподвижно, чтобы не расплескать поставленной на нее (оцените коварство!) севрской чашки с кипящим кофе или не скатить серебряного рубля, а ныне, в моем — держать в непрерывном движении свободы, в чередовании поклона и заброса, чтобы играющая рука, в совокупности локтя, кисти и концов пальцев, давала пьющего лебедя, и на обороте которой (кисти) голубые жилы, у меня, если нажать, дают явную букву Н — того Николая, за которого, по толкованию немки, я через двенадцать лет выйду замуж, — по французенке же: Henri. Все на воле: Андрюша с папой пошли купаться, мама с Асей «на пеньки», Валерия в Тарусу на почту, только кухарка одна стучит котлетным ножом — и я — по клавишам.

Или, осень: Андрюша строгаёт палку, Ася, высунув язык, рисует дома, мама читает «Eckerhardt», Валерия пишет письмо Вере Муромцевой, я одна — «играю». (Зачем??) «Нет, ты не любишь музыку! — сердилась мать (именно сердцем — сердилась!) в ответ на мой бесстыдно-откровенный блаженный, после двухчасового сидения, прыжок с табурета. — Нет, *ты* музыку — *не* любишь!»

Нет — любила. Музыка — любила. Я только не любила — свою. Для ребенка будущего нет, есть только сейчас (которое для него — всегда). А сейчас были гаммы, и ганоны, и ничтожные, оскорблявшие меня своей малюточностью «пьески». И моя будущая виртуозность была для меня совершенно тем мужем Николаем или Henri. Хорошо ей было, ей, которая на рояле могла все, ей, на клавиатуру сходявшей, как лебедь на воду, ей, на моей памяти в три урока научившейся на гитаре и игравшей на ней концертные вещи, ей, с нотного листа читавшей, как я с книжного, хорошо ей было «любить музыку».

Мать — залила нас музыкой. (Из этой Музыки, обернувшейся

Лирикой, мы уже никогда не выплыли — на свет дня!) Мать затопила нас как наводнение. Ее дети, как те бараки нищих на берегу всех великих рек, отродясь были обречены. Мать залила нас всей горечью своего несбывшегося призвания, своей несбывшейся жизни, музыкой залила нас, как кровью, кровью второго рождения. Могу сказать, что я родилась не *ins Leben*, а *in die Musik hinein*<sup>3</sup>. Все лучшее, что можно было слышать, я отродясь слышала (будущее включая!). Каково же было, после невыносимого волшебства тех ежевечерних ручьев (тех самых ундинных, лесноцаревых, «жемчужны струи»), слышать свое честное, унылое, из кожи вон лезущее, под собственный счет и щелк метронома «игранье»? И как я могла не почувствовать к нему отвращения? Рожденный музыкант бы переборол. Но я не родилась музыкантом. (Помню, кстати, что одна из ее самых любимых русских книг была «Слепой музыкант», которым она меня постоянно попрекала, как и трехлетним Моцартом, и четырехлетней собой, а позже — Мусей Потаповой, которая меня обскакивала, и кем еще не, и кем только не!..)

Щелк метронома. Есть в моей жизни несколько незабываемых радостей: не идти в гимназию, проснуться не в Москве 19-го года и не слышать метронома. Как это музыкальные уши его переносят? (Или музыкальные уши другое, чем музыкальные души?) Метроном я, до четырех лет, даже любила, почти так же, как часы с кукушкой, и за то же: за то, что в нем тоже кто-то живет, причем кто — неизвестно, потому что я его, в доме, обновила. Это был дом, в котором я сама хотела жить. (Дети всегда хотят в чем-нибудь невыносимом жить, — так мой сын, шести лет, мечтал жить в уличном фонаре: светло, тепло, высоко, все видно: «А если в твой дом бросят камнем?» — «Тогда я в них буду бросаться огнем!») Но как только я под его методический щелк подпала, я его стала ненавидеть и бояться до сердцебиения, до обмирания, до похолодания, как и сейчас боюсь по ночам будильника, всякого равномерного, в ночи, звука... За ужасом звука я даже забывала ужас вида: стальная палка, вылезаящая, как палец, и с маниакальной тупостью качающаяся за живой спиной.

О, я никогда не отставала от метронома! Он меня держал — не только в такте, но физически приковывал к табурету. Открытый метроном был лучшей гарантией, что я не оглянусь на часы. Но мать, к счастью, иногда забывала, и никакая моя — ее! — протестантская честность не могла заставить меня напоминанием обречь себя на эту муку. Если я когда-нибудь кого-нибудь хотела убить — так метроном. И не перестал еще идти из глаз моих тот взгляд сладострастной мести, которым я, отыграв и с самым непринужденным видом проходя мимо этажерки, его, через все высокомерие плеча, дарила: «Я — иду, а ты — стоишь!»

Но мимо этажерки я не только проходила, я у нее подолгу стояла.

---

<sup>3</sup> Не в жизнь, а в музыку (*нем.*).

Этажерка была та же библиотека... Нотная этажерка делилась на «мамино» и «Лерино». Мамино: Бетховен, Шуман... и Лерино — Нувеллист. Нувеллист+Романсы (через французское an). И я, конечно, предпочитала «ансы». Во-первых, в них вдвое больше слов, чем нот (на одну нотную строчку — две буквенные), во-вторых, я всю Лерину библиотеку могу прочесть подстрочно, минуя ноты... Романсы были те же книги, только с нотами. Под видом нот — книги. Только жаль, что такие короткие. Распахнешь — и конец.

Всю эту Лерину полку я с полным упоением и совершенно всухую целый день повторяла наизусть, даже иногда, забывшись, при матери. «Что это ты опять говоришь? Повтори-ка, повтори!» — «В сердце радость и гроза». — «Что это значит?» Я, уже тихо: «Что в сердце радость и гроза». — «Что? Что?» — мать, наступая. Я, уже совсем тихо (но твердо): «Гроза — и радость». — «Какая гроза? Что значит — гроза?» — «Потому что ей страшно». — «Кому ей?» — «Которая подошла к старушке, потому что старушка — страшная. Нет, это старушка — подошла». — «Какая старушка? Ты с ума сошла!» — «Из Лериной песни. Одна барышня обдирала маргаритку и вдруг видит: старушка — с палкой... Это называется «Ворожея» (ударяю на предпоследнем слоге). Мать, так же: «А что значит Ворожея?» — «Я не знаю». Мать, торжествующе: «А, вот, видишь, не знаешь, а говоришь! Я тебе тысячу раз говорила, чтобы ты не смела читать Лериных нот. Не могу же я, наконец, от нее и этажерку запирать на ключ!» — мать, торопливо проходящему с портфелем в переднюю, внимательно-непонимающему отцу. Пользуясь отводом, скрываюсь в недосыгаемость лестницы, но уже с половины ее: «На устах ее улыбка, в сердце радость и гроза... Та-та, та-та, та-та, та-та... Он глядит в ее глаза...»

Так, из-под самого метронома, из-под самого его, полированного, носа лились на меня потоки самой бестактной лирики. А иногда я, застигнутая, просто — врала. (До четырех лет я, по свидетельству матери, говорила только правду, потом, очевидно, спохватилась...) «Что ты опять тут делаешь?» — «Я смотрю на метроном». — «Что значит „смотри на метроном“?» Я, с противоестественным восторгом: «Он такой красивый! (Пауза и, ничего не найдя): желтый!» Мать, уже смягченная: «На метроном нужно не смотреть, а слушать». Я, уже наверху спасательной лестницы, разрываясь между желанием и ужасом быть услышанной, громким, но шепотом: «Мама, а я в Лериных нотах рылась! А метроном — урод!»

...После смерти матери я перестала играть. Не перестала, а постепенно свела на нет. Приходили еще учительницы. Но те вещи, которые я при ней играла, остались последними. Дальше при ней достигнутого я не пошла. Старалась-то я при ней из страху и для ее радости. Радовать своей игрой мне уже было некого — всем было все равно, верней: только ей одной мое нестарание было бы страданием — а страх, страх исчез от сознания, что ей оттуда (меня всю) видней... что она мне меня — такую, как я есть — простит?

Учительницы моих многочисленных школ, сначала ахавшие, вскоре

ахать перестали, а потом уж и по-другому ахали. Я же молчаливо и упорно сводила свою музыку на нет. Так море, уходя, оставляет ямы, сначала глубокие, потом мелеющие, потом чуть влажные. Эти музыкальные ямы — следы материнских морей — во мне навсегда остались.

Жила бы мать дальше — я бы, наверное, кончила консерваторию и вышла бы неплохим пианистом — ибо данные были. Но было другое: заданное, с музыкой несравненное и возвращающее ее на ее настоящее во мне место: общей музыкальности и «недюжинных» (как мало!) способностей.

Есть силы, которых не может даже в таком ребенке осилить даже такая мать.

Мы видим, что от музыки Марину отталкивало принуждение заниматься «не своим». Но музыку она любила. Она любила *музыку матери*. «Мать — залила нас музыкой. (Из этой Музыки, обернувшейся Лирикой, мы уже никогда не выплыли..!)»

Музыка матери была для ее детей, конечно, бесценным даром. В часы своей вдохновенной игры она, свободная от всяких мыслей о воспитании и обучении, погружала детей в мир возвышенных чувств и образов.

И здесь — еще один урок, который преподает нам М. Цветаева, а точнее, обе они, мать и дочь, — нам, родителям, подчас замороченным проблемами воспитания и желающим как можно раньше и как можно больше «дать», «привить», «научить», «сформировать». Будем помнить о том, что ребенок по-настоящему растет и развивается рядом со взрослым в те минуты, когда тот сам увлечен и живет полной жизнью!